

вого, видел злобу, невежество, но не видел главного: осуществлялось то, о чем я мечтал подростком, что мерещилось мне в тюремных камерах. Жизнь никогда не похожа на мечты. Гадалки говорят про «линию жизни»; такая линия действительно существует — не на ладони, а в судьбе человека, и чем раньше ее увидишь, осознаешь, тем легче будет преодолеть сомнения. Эта линия складывается не только из высоких идей, но и из реальных событий, не только из притяжений, но и из отталкиваний, не только из страстных чувств, но и из раздумий. Менее всего я хочу этим сказать, что, походящему определению, цель оправдывает средства, я слишком хорошо знаю, что средства могут изменить любую цель. Я думаю только о верности линии жизни — человека, народа, века.

Потом мне, как и всем моим современникам, пришлось пережить немало испытаний; я оказался к ним подготовленным: в сорок шесть лет линия жизни мне была куда яснее, чем в двадцать шесть... Я знал, что нужно уметь жить, сжав зубы, что нельзя подходить к событиям, как к диктовке, только и делая, что подчеркивая ошибки, что путь в будущее — не накатанное шоссе. Как сказал поэт Твардовский, «тут ни убавить, ни прибавить» — в истории, как и в жизни отдельного человека, много горьких страниц, не все разворачивается так, как хотелось бы... Теперь каждому ясно, какой подвиг совершил наш народ в нищей, темной, голодной стране, когда осенью 1917 года пошел по новому, непроторенному пути. А тогда не только я, но и многие писатели старшего поколения, да и мои сверстники не понимали масштаба событий. Но именно тогда молодой петроградский поэт, которого считали салонным, ложноклассическим, далеким от жизни, тщедушный и мнительный Осип Эмильевич Мандельштам написал замечательные строки:

Ну, что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи,
Как плугом, океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

Впрочем, обо всем этом мне еще придется говорить — и о Мандельштаме, и об огромном повороте руля, и, главное, о той земле, которая нам стоила десяти небес.

5

Вскоре после моего приезда в Москву я встретил Б. Л. Пастернака, который повел меня к себе (жил он тогда возле Пречистенского бульвара). В моей записной книжке есть короткая пометка: «Пастернак. Стихи. Странность. Лестница».

Беру другую записную книжку, 5 июля 1941 года. После слов «немцы говорят, что перешли Березину» и до «5 ч. Лозовский» записано: «Пастернак. Безумие».

1917—1941... В течение двадцати четырех лет я встречался с

Пастернаком, порой редко, порой чуть ли не каждый день. Казалось, это достаточный срок для того, чтобы узнать даже очень сложного человека; но зачастую Борис Леонидович мне казался таким же загадочным, как при первой встрече; этим объясняется и запись 1941 года. Я его любил, любил и люблю его поэзию; из всех поэтов, которых я встречал, он был самым косноязычным, самым близким к стихии музыки, самым привлекательным и самым невыносимым. Я попытался описать его таким, каким видел и понимал. Это будет главным образом Пастернак 1917—1924 годов, когда мы подолгу беседовали, переписывались. Мы встречались довольно часто и в 1926, 1932, 1934 годах — в Москве, в 1935 году в Париже, потом снова в Москве — накануне войны, в ее первые недели. Мы не поссорились, а как-то молча разошлись; случайно встречаюсь, жали друг другу руки, говорили, что нужно обязательно повидаться, и расставались до новой случайной встречи. Конечно, я не надеюсь показать всего Пастернака, даже молодого, — многого в нем я не понимал, многого и не знал; но то, что я напишу, будет не иконой и не шаржем, а попыткой портрета.

Начну с самого начала. Когда мы познакомились, Борису Леонидовичу было двадцать семь лет, и было это летом того года, когда, по словам Пастернака,

Все жили в сушь и впроголодь.
В борьбе ожесточась,
И никого не трогало,
Что чудо жизни с час.

Я был растерян и мрачен, Пастернак радостен, приподнят. Тот год был для него особенно памятным:

Он незабвенен тем еще,
Что пылью припухал,
Что ветер лускал семечки,
Сорил по лопухам,

Что незнакомой мальвою
Вел, как слепца, меня,
Чтоб я тебя вымаливал
У каждого плетня.

В тот год Пастернак узнал большое чувство, рождалась книга «Сестра моя жизнь». Вот как я описал нашу первую встречу: «Он читал мне стихи. Не знаю, что больше меня поразило: его стихи, лицо, голос или то, что он говорил. Я ушел, полный звуков, с головной болью. Дверь внизу была заперта — я засиделся до двух. Я поискал швейцара, его не оказалось. Я пошел назад, но не смог разыскать квартиру, где жил Пастернак. Это был дом с переходами, коридорами и полуэтажами. Я понял, что мне не выбраться до утра, и покорно сел на ступеньку. Лестница была чугунная, под ногами копошилась ночь. Вдруг дверь открылась. Я увидел Пастернака. Ему не спалось, он вышел погулять. Я просидел добрый час возле той самой квартиры, где он жил. Он несколько не удивился, увидав меня; я тоже не удивился».



Б. Пастернак выступает на панихиде по В. Маяковскому. 1930 г.

Он недаром назвал свою книгу «Сестра моя жизнь»: в отличие не только от старших поэтов-символистов, но и от большинства своих сверстников он жил с жизнью в ладу. Реализм его стихов не связан с литературной программой (Пастернак много раз говорил, что ему непонятны различные направления и школы), а продиктован природой поэта. В 1922 году Пастернак писал: «Живой действительный мир это единственный, однажды удавшийся и все еще без конца удачный замысел воображения. Вот он длится, ежемгновенно успешный. Он все еще действителен, глубок, неотрывно увлекателен. В нем не разочаровываешься на другое утро. Он служит поэту примером в большей еще степени, нежели натурой и моделью».

Один юноша недавно сказал мне, что, наверно, Пастернак был мрачным, нелюдимым, да и глубоко несчастным. А я в 1921 году писал о Пастернаке: «Он жив, здоров и современен. В нем ничего нет от осени, от заката и прочих милых, но неутешительных вещей». Год спустя В. Б. Шкловский, встречавшийся с Пастернаком в Берлине, написал: «Счастливый человек. Он никогда не будет озлобленным. Жизнь свою он должен прожить любимым, избалованным и великим».

В 1923 году Маяковский и О. Брик формулировали (на жаргоне

Борис Леонидович часто говорил междометиями. Есть у него стихотворение «Урал впервые»; оно похоже на восторженное мычание. Сила его ранней поэзии — это жизнь впервые. Он отнюдь тогда не слыл отшельником, охотно встречался с людьми, был радостным, и стихи тех лет радостные. Мне он казался счастливым не только потому, что ему был отпущен большой поэтический дар, но и потому, что он умел создать высокую поэзию из будничных деталей. Нас всех в то время подташнивало от чересчур громких слов, которыми злоупотребляли символисты: «вечность», «бесконечность», «безбрежность», «тленный», «бренный», «границы», «жребий», «рок». Пастернак писал:

Всесильный бог деталей,
Всесильный бог любви.

О женщине, которую он любил, он сказал так:

Грех думать — ты не из весталок:
Вошла со стулом,
Как с полки, жизнь мою достала
И пыль обдула.

эпохи) искания художников: «Маяковский. Опыт полифонического ритма в поэме широкого социально-бытового охвата». «Пастернак. Применение динамического синтаксиса к революционному заданию».

Все это может удивить тех зарубежных читателей, которые узнали о существовании Пастернака только в 1958 году. Им представляется злосчастный человек, вступивший в поединок с историей. На самом деле Пастернак был счастливым, и жил он вне общества не потому, что данное общество ему не подходило, а потому, что, будучи общительным, даже веселым с другими, знал только одного собеседника: самого себя.

В конце 1918 года он восхищался Кремлем:

Несется, грозный, напролом,
Сквозь неистекший в девятнадцатый.

За морем этих непогод
Предвижу, как меня, разбитого,
Ненаступивший этот год
Возьмется сызнова воспитывать.

(Пастернак тогда не понимал, что никто на свете не возьмется всерьез его «сызнова воспитывать».)

Позднее, в 1930 году, после самоубийства Маяковского он писал: «...Наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство»; он говорил о кровной связи между этим государством и Маяковским. Он писал восторженные строки все о том же «ломящемся в века» государстве и в 1944 году. Он восхищался со стороны: у каждого, даже самого большого поэта есть не только потолок, но и стены; общество было вне стен того мира, в котором жил Пастернак.

Шкловский в одном ошибался, когда он писал: «Этот счастливый и большой человек чувствовал среди людей, одетых в пальто, жующих

Борис Пастернак. 1928 г. Печатается впервые.

Дарственная надпись Б. Пастернака И. Эренбургу.

Б. Пастернак, О. Ивинская и ее дочь Ирина. 1957 г.



бутерброды у стойки «Дома печати»... тягу истории». Пастернак чувствовал природу, любовь, Гёте, Шекспира, музыку, старую немецкую философию, живописность Венеции, чувствовал себя, некоторых близких ему людей, но никак не историю; он слышал звуки, неуловимые для других, слышал, как бьётся сердце и как растёт трава, но поступи века не расслышал.

Слово «эгоцентризм» столь часто применяли, что оно стерлось, да и есть в нем уничтожительный характер, а другого я не нахожу. Борис Леонидович жил не для себя — эгоистом он никогда не был, но он жил в себе, с собой и собой. Я вспоминаю наши давние встречи — два поезда неслись, каждый по своему пути. Я знал, что Пастернак меня слушает, но не слышит: не может оторваться от своих мыслей, своих чувств, своих ассоциаций. Беседы с ним, даже задушевные, напоминали два монолога.

Мне вспомнился забавный эпизод. Пастернак летом 1935 года был в Париже на Конгрессе в защиту культуры. Группа советских писателей приехала раньше, потом, по просьбе французских писателей, дополнительно приехали Пастернак и Бабель. Пастернак сердился, говорил, что не хотел ехать, не умеет выступать. В короткой речи он сказал, что поэзию незачем искать в небе, нужно уметь нагнуться, поэзия — в траве. Может быть, эти слова, а скорее всего, облик Пастернака поразили аудиторию; ему устроили овацию. Несколько дней спустя он сказал мне, что хотел бы встретиться с некоторыми французскими писателями; мы решили, что пригласим их обедать. Моя жена позвонила Борису Леонидовичу: приходите в такой-то ресторан в час дня. Он возмутился: «Почему так рано? Лучше в три». Люба объяснила, что в Париже обедают между двенадцатью и двумя, а ужинают между семью и девятью, в три часа все рестораны закрыты. Тогда Борис Леонидович заявил: «Нет, в час мне еще не хочется есть...»

Сосредоточенность в себе (возраставшая с годами) не помешала, да и не могла помешать Пастернаку стать большим поэтом. Мы часто, скорее, по привычке говорим, что писатель должен быть наблюдательным. В дневниках А. Н. Афиногенова, недавно опубликованных, есть интересная запись: «Если искусство писателя состояло в умении наблюдать людей — самыми лучшими писателями были бы доктора и следователи, учителя и проводники вагонов, секретари парткомов и полководцы. Однако — этого нет. Потому что искусство писателя заключается в умении наблюдать себя!» Афиногенов правильно отводит старое понятие «наблюдательности»; в создании героев романа или трагедии огромную роль играет пережитое автором, им осознанное — ведь внутренний мир других людей понятен писателю, только поскольку ему знакомы и, следовательно, понятны те или иные страсти.

Искусство, однако, многообразно. В лирическом стихотворении автор раскрывает себя; как бы ни был он своеобразен, его чувства — восхищение весенним днем или ощущение неизбежности смерти, радость любви или разуверение — понятны тысячам, миллионам других людей. Для того чтобы написать «О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней...», Тютчеву не нужно было наблюдать старею-

щих людей, захваченных страстью, ему достаточно было на пороге старости встретить молодую Е. А. Денисьеву. Молодому А. П. Чехову, для того чтобы в «Скучной истории» показать дружбу между старым профессором и молодой его воспитанницей, нужно было очень хорошо знать людей, их чувства, привычки, характеры, манеру говорить, даже манеру одеваться. Борис Пастернак, один из лучших лирических поэтов нашего времени, был, как и всякий художник, ограничен своей природой; когда он попытался изобразить в романе десятки других людей, эпоху, передать воздух гражданской войны, воспроизвести беседы в поезде, он потерпел неудачу — он видел и слышал только себя.

Его привлекали, особенно в конце жизни, загадки чужих судеб. В одной из написанных им автобиографий он попытался понять, что пережили в последние минуты Маяковский, Марина Цветаева, Фадеев. Когда я читал эти догадки, мне было как-то неловко: у Бориса Леонидовича было очень богатое сердце, но ключей к чужим сердцам у него не было.

Я не берусь строить домыслы о том, что он сам пережил в последние годы своей жизни; я его не встречал; да, может, и встречая, не знал бы — чужая душа потемки. Не знаю, почему в той же автобиографии он отрекся от своей давней дружбы с Маяковским. А мне хочется рассказать об этой дружбе: я был ее свидетелем.

Шутя, мы говорили, что у Маяковского второй, запасной голос для женщин. И вот этим вторым голосом, необычно мягким, ласковым, при мне он разговаривал только с одним мужчиной — с Пастернаком. Помню, в марте 1921 года в Доме печати был литературный вечер Бориса Леонидовича, читал он сам, а потом его стихи читала молоденькая актриса В. В. Алексеева-Месхиева. При обсуждении кто-то осмелился, как у нас говорят, «отметить недостатки»: тогда встал во весь рост Маяковский и в полный голос начал прославлять поэзию Пастернака; он защищал его с неистовством любви.

В «Охранной грамоте» (1930 год) Пастернак говорит о своем отношении к Маяковскому накануне войны, в годы войны, в первые годы революции: «я был без ума от Маяковского», «я его боготворил», «вершиной поэтической участи был Маяковский», «я почти радовался случаю, когда впервые как с чужим говорил со своим любимцем» (после одной из размолвок), «я присутствие Маяковского ощущал с двойной силой. Его существо открывалось мне во всей свежести первой встречи».

Размолвки были частыми и бурными. Борис Леонидович иногда мне рассказывал о них. У меня сохранился сборник «Современник» (1922 год) с такой надписью Пастернака: «Другу и соратнику с благодарностью и радостью за «Хуренито», восхищение которым объединило редко на чем сходящихся и чаще разбредавшихся Маяковского, Асеева и других друзей и соратников».

После одной из размолвок Маяковский и Пастернак встретились в Берлине; примирение было столь же бурным и страстным, как разрыв. Я провел с ними весь день: мы пошли в кафе, потом пообедали, снова сидели в кафе. Борис Леонидович читал свои стихи. Вечером Маяков-

ский выступал в Доме искусств, читал он «Флейту-позвоночник», повернувшись к Пастернаку.

Впоследствии их пути разошлись. Однако и в 1926 году Маяковский, приводя четверостишие Пастернака «В тот день всю тебя от гребенок до ног», назвал его «гениальным». Рассказывая о смерти Маяковского, Пастернак писал: «Я разревёлся, как мне давно хотелось».

Почему, оглядываясь на свое прошлое, Пастернак попытался многое перечеркнуть? Может быть, в этом сказалось недовольство собой? Не знаю. Для меня его последние стихи тесно связаны с «Сестрой моей жизнью», а он, видимо, ощущал разрыв. Недавно я прочитал письмо Бориса Леонидовича одному из его французских переводчиков, опубликованное в журнале «Эспри». Борис Леонидович пытался убедить переводчика не опубликовывать переводов некоторых его старых произведений. Рассказывали, что, когда с ним заговаривали о его прежних книгах, он уверял, что все написанное прежде было только школой, подготовкой к тому единственно стоящему, что он недавно написал, — к роману «Доктор Живаго».

Прочитав рукопись «Доктора Живаго», я огорчился. Когда-то Пастернак писал: «Неумение найти и сказать правду — недостаток, которого никаким умением говорить неправду не покрыть». В романе есть поразительные страницы — о природе, о любви; но много страниц посвящено тому, чего автор не видел, не слышал. К книге приложены чудесные стихи, они как бы подчёркивают душевную неточность прозы.

Никогда прежде мне не удавалось убедить зарубежных ценителей поэзии в том, что Пастернак большой поэт. (Это, конечно, не относится к некоторым крупным поэтам, знавшим русский язык: Рильке еще в 1926 году восторженно говорил о стихах Пастернака.) Слава пришла к нему с другого хода. Когда-то он писал:

Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста,
В посаде, куда ни один двуногий...
Я тоже какой-то... Я сбился с дороги:
— Не тот этот город, и полночь не та.

Я был в Стокгольме, когда разразилась буря вокруг Нобелевской премии. Я выходил на улицу и видел афиши газет, на них стояло одно имя; пытался что-то понять, открывал радио — и только одно понимал: «Пастернак»... Это было одним из эпизодов «холодной войны». Не тот город, не та полночь. Да и не та слава, которую заслужил Пастернак. (Обо всем этом я расскажу в одной из последующих частей моей книги — ведь связь газетной бури с Пастернаком была случайной, дело относится к летописи «холодной войны».)

Нужно ли добавить, как тяжело было мне читать некоторые выступления моих товарищей? Я убежден, что в помыслах Пастернака не было нанести ущерба нашей стране. Виноват он только в том, что был Пастернаком, то есть изумительно понимая одно, не мог понять другого. Он не подозревал, что из его книги создадут дурную политическую сенсацию и что на удар неизбежно последует ответный.

Все это позади: смерть ставит вещи на свое место. Вряд ли кто-нибудь теперь, перечитывая стихи Пастернака, будет думать о печальной истории, воистину злободневной — и злора в ней сказалась, и была она историей-однодневкой. А стихи остались.

Когда-то составители поэтических сборников любили прибегать к делению по сюжету. Если подойти к Пастернаку с такой меркой, то большинство его стихотворений окажется посвященным природе и любви; но мне думается, что основной, постоянной его темой было искусство, то есть та тема, которая породила «Портрет» Гоголя, «Неведомый шедевр» Бальзака, «Чайку» Чехова.

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и уьют!

И кончил он эти стихи о стихах признанием:

И тут кончается искусство, *
И дышат почва и судьба.

Он не застрелился, не умер молодым, но цену, которой оплачивается искусство, узнал сполна — силу строк, которые медленно, настойчиво убивают.

Поль Элюар как-то сказал: «Поэт должен быть ребенком, даже если у него седые волосы и склероз сосудов». Было в Пастернаке нечто детское. Его определения, казавшиеся наивными, ребячливыми, — определения поэта. Он сказал об одном авторе: «Ну как же он может быть хорошим поэтом, когда он плохой человек...» Увидав впервые Париж, он воскликнул: «Да это и не похоже на город, это скорее пейзаж...» Он говорил: «Описать весеннее утро легко, да это никому и не нужно, а вот быть простым, ясным и внезапным, как весеннее утро, — это чертовски трудно...»

В то время, о котором я теперь рассказываю, когда я ходил растерянный, неприкаянный, Борис Леонидович был для меня и порукой живучести искусства, и мостком к живой жизни. Молодой, веселый, красивый, похожий на вдохновенного араба — таким он мне навсегда запомнился, хотя я его и видел постаревшим, седым.

Так уж полвека — вдруг начинаю про себя бормотать стихи Пастернака. Из мира их не выгонишь: они живут...

6

Не помню, кто меня познакомил с Маяковским; сначала мы сидели в каком-то кафе и говорили о кино; потом он повел меня к себе — в маленький номер мебелирашек «Сан-Ремо» в Салтыковском переулке, около Петровки. Незадолго до этого я прочитал его книгу «Простое как мычание»; он мне представлялся именно таким, каким я его увидел, — большим, с тяжелой челюстью, с глазами то печальными, то суровыми,